

КТО СТАРОЕ ПОМЯНЕТ, КТО СТАРОЕ ЗАБУДЕТ: О СТИЛЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ КАЛМЫКАМИ ДЕПОРТАЦИОННОЙ ТРАВМЫ

В статье на основе широкого круга материалов, в том числе — мемуаристики и полевых материалов автора, исследуется, как передается информация о коллективной травме, которой была для калмыков депортация 1943 г., как меняется дискурс о депортации за прошедшие годы: от полного умолчания до инструменталистского отношения к ней. В статье анализируются различные публикации, посвященные этой проблеме. Среди них рассматриваются научные монографии, вышедшие в начале 1990-х, авторы которых не были в своем научном творчестве свободны от советской идеологической парадигмы, хотя и разоблачали ее. На примере межпоколенной трансляции информации о травме среди калмыков автор подчеркивает усеченность передачи ее поколению детей, родившемуся после депортации. По мнению автора, это информационное сито в калмыцком обществе стало инструментом в послании умолчания, а опубликованные воспоминания последних лет стали перезаписью памяти, переложенным вариантом эпической песни, по законам которой право на счастье надо заслужить, пройдя inferнальное путешествие.

В статье ставится задача исследовать, как передается информация о коллективной травме, как меняется отношение к травме и от каких факторов это зависит на примере депортации калмыков 1943 г. Обращаясь к этой теме, следует иметь в виду, что характер исторической травмы у калмыцкого народа многослоен, и в этом ряду депортация 1943 г. — самая последняя хронологически, не очень отдаленная во времени, многие акторы которой живы, и потому — еще болезненная в общественном обсуждении проблемы.

Калмыки были депортированы согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря 1943 г., и депортация продолжалась вплоть до принятия Указов Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений в правовом положении с калмыков и членов их семей, находящихся на спецпоселении» от 17 марта 1956 г. и «Об образовании Калмыцкой автономной области в составе РСФСР на основе прежней территории в границах Ставропольского края» от 9 января 1957 г.

Долгое время факт репрессий десяти тотально депортированных народов (немцы, карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы, крымские татары, финны, корейцы и турки-месхетинцы) официально замалчивался. Если в отношении троцкистов и других врагов народа были организованы громкие судебные процессы, центральные, а вслед за ними и местные газеты клеймили врагов государства, то репрессии на этнической основе происходили тихо и ограничивались публикацией соответствующего указа в газете «Правда». После выселения калмыков стал умалчиваться и факт наличия народа в настоящем и в прошлом. Из Большой Советской энциклопедии исчезло слово «калмык», с карты СССР — Калмыцкая АССР и столица республики — г. Элиста, переименованный в «Степной». Калмыцкое искусство, прошлое народа в эти годы также «пропало». Книги о калмыках,

музейные экспонаты калмыцкого происхождения или прятались в запасниках, хранилищах, или представлялись как бурятские, монгольские и проч.

Официальное замалчивание депортации продолжалось и после возвращения калмыков в 1957–1958 гг. «Тринадцать проклятых лет» в официальной историографии упоминались скороговоркой и иносказательно, эта тема артикулировалась только в партийно-политических терминах, согласно которым «в 1943 г. были допущены грубые нарушения ленинской национальной политики». Вышедший в 1970 г. второй том «Очерков по истории Калмыцкой АССР (эпоха социализма)» отражал этот период следующей формулой «Калмыки временно переехали». Целая глава была посвящена периоду с 1946 по 1958 гг. и носила название «Калмыкия в период завершения строительства социализма (1946–1958 гг.)». В ней повествуется о «высокой трудовой активности калмыцкого народа», о том, как он «отдавал свои знания и умения быстрейшему выполнению планов послевоенных пятилеток», о том, как успешно развертывалось «социалистическое строительство на территории Калмыкии в годы четвертой и пятой пятилеток (1946–1956 гг.)» [1, с. 147]. На это первое основательное историческое исследование калмыцкого народа, написанное под научным руководством специалистов из Института истории АН СССР, и, кстати, продолжающее оставаться во многих отношениях непревзойденным и поныне, как пишет историк науки М. Ленкова, «молча равнялась вся историография региона в 70–80-е гг.». В «Очерках по истории Калмыцкой организации КПСС», увидевших свет спустя десять лет, калмыцкий народ даже как будто бы и не переезжал, просто «Калмыкия временно входила в состав Астраханской области» [1, с. 147]. Возможно, именно в силу неоспариваемого официального требования, согласно которому тринадцать лет из истории выпадали, первое исследование истории Калмыкии нашло форму «Очерков», которые позволяли в большей степени манипулировать подачей исторического материала.

Единственная брошюра о жизни калмыков в годы депортации «В семье единой» [2], вышедшая в свет в 1967 г., была посвящена трудовому вкладу калмыков в регионах их выселения. Ее автор, проф. Д. Номинханов был представителем довоенной калмыцкой профессуры, имевший в республике безоговорочный авторитет. Видимо, для ЛИТО имел значение «оправдательный» мотив издания, посвященного трудовым подвигам калмыков в годы депортации, который работал на положительный образ народа. Таким образом, вышла брошюра, написанная о пользе, которую калмыки, несмотря на свой статус и отношение государства к народу, принесли государству в годы «сибирской ссылки». В ней не говорилось о репрессиях, но смелой была сама постановка вопроса, выбранные хронологические рамки, указанная география расселения народа. Эта информация позволяла вдумчивому читателю делать свои выводы о масштабах репрессий.

В негласном круге вопросов, связанном с историей и причинами депортации калмыков, можно отметить ряд работ, посвященных участию калмыков в Великой Отечественной войне, особенно боевому пути 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии (110 ОККД) [3; 4; 5]. В них не упоминается факт выселения народа, и хронологические рамки повествования ограничиваются периодом до декабря 1943 г. Но обращение историков к этой теме, в рамках которой было сформулировано обвинение в измене народа, было имплицитным сопротивлением официальной истории, попыткой представить другую версию истории республики военного периода, такую, какой она виделась историкам-калмыкам, многие из которых были фронтовиками. Действительно, как показали эти исследования, основанные на документах Государственного Военно-исторического архива, 110-ю ОККД не в чем упрекнуть, она героически воевала и была расформирована и влита в другое формирование из-за больших людских потерь. Таким образом, военные историки опровергли официальное обвинение в сдаче этой дивизии врагу, хотя в самих текстах полемики с обвинением как таковой нет. Однако факты и выводы этих публикаций вписываются в дискуссию о причинах

и правомерности наказания народа, поскольку «контексты не стоят рядом друг с другом, как бы не замечая друг друга, но находятся в состоянии напряженного и непрерывного взаимодействия и борьбы» [6, с. 416].

Но историческая правда так или иначе просачивалась в советскую печать — со стороны, разумеется, после «оттепели» и практически в микроскопических дозах. Так, в одном из своих очерков пару фраз о выселении калмыков написал абхазский поэт Дмитрий Гулиа, видевший на одной из железнодорожных станций скотские вагоны, набитые людьми. В чем виноваты эти женщины и дети, — задавал вопрос поэт. И это сочувствие было очень важным для всех калмыков.

В последнее десятилетие было организовано несколько крупных мероприятий — научные конференции об истории репрессированных народов, фестиваль «Репрессированные, но не сломленные», куда приглашались представители соседних, также «наказанных» народов. Но, как правило, и доклады на этих конференциях, которые, по мнению специалистов, мало что внесли существенного в разработку истории депортаций, поскольку были слабо аргументированы и документированы, эмоциональны [7, с. 39], так же, как и многие последующие публикации, не поднимались до теоретических обобщений. Как правило, они рассматривали конкретный сюжет, взятый из истории одного народа, который подавался как наиболее трагический. Думаю, что это имеет свое объяснение. Все исследования о депортациях российских народов обычно принадлежат историкам, представителям депортированных народов, и апеллируют к государству, которое предположительно должно компенсировать материально и морально принесенный депортированным народам ущерб. А поскольку государственные выплаты ограничены, то в стремлении получить постдепортационные компенсации наказанные народы выступают как конкурирующие. С другой стороны, соревнование в перенесенных бедах должно было показать государству, какой народ надо поддержать в первую очередь — конечно, тот, который пострадал больше. Компаративные исследования, посвященные насильственным выселениям народов, появившиеся в конце 1990-х, не рассматривали калмыцкий материал, ограничиваясь северокавказскими народами.

Исключение составило исследование П. Поляна, предложившего классификацию принудительных миграций в СССР, в которой восемь разделов, среди которых раздел «Принудительные миграции по этническому признаку» делится на: депортации «в порядке “политической подготовки театра военных действий” и “зачистки границ” (тотальные и частичные) и тотальные депортации “наказанных народов” (превентивные и депортации “возмездия”» [8, с. 47].

Мнение экспертов, специалистов в области исторического знания, в основном, историков депортации, на мой взгляд, по-настоящему еще не сформулировано. Оценки, имеющиеся в литературе, несут в себе знакомые формулировки из курса истории КПСС, слегка откорректированные в соответствии со временем. Депортации на этнической основе преподносятся как грубое нарушение национальной политики и демократических принципов. Как писал один из авторитетных историков депортаций в СССР, в 1920–1930-е гг. народы СССР строили социалистическое общество, и по утвердившейся концепции Сталина сопротивление классовых врагов по мере продвижения к социально справедливому обществу должно было возрастать. Ради построения социалистического общества были принесены многочисленные жертвы. Ими стали представители классово чуждых эксплуататорских слоев — так называемые «бывшие»: помещики, капиталисты, дворяне, служители культа, интеллигенция, кулаки, буржуазные националисты, а также и сами коммунисты, принадлежавшие в прошлом разным партийным течениям. Со временем в «измене Родине» стали обвинять целые народы, а с карты Советского Союза стали исчезать отдельные национальные образования — районы, области, республики [9, с. 3].

Указанные тексты писались в самом начале 1990-х гг., их авторы не были в своем научном творчестве свободны от советской идеологической парадигмы, хотя и разоблачали ее. В конце 1990-х исследователи принудительных миграций в СССР включили их в более широкий исторический контекст и выяснилось, что спецпереселенцы не были порождением сталинизма и известны со времен Ветхого Завета. Как считает П. Полян, за всю историю человечества все принудительные миграции исходили из одних и тех же мотивов — сочетания политических и прагматических факторов. И хотя чаще бывают приоритетными политические факторы, роль экономического фактора также огромна, например, один исследователь обратил внимание, что лесоповал, на котором нередко трудились репрессированные, был одной из немногих валютопринносящих сфер социалистического хозяйства. Этот же автор увидел связь между «вспышками принудительных миграций» и мировыми войнами [8, с. 23]. Выселение калмыков определяется как тотальная депортация «возмездия» за совершенные и несовершенные в годы войны преступления против советского государства и находится в одном ряду с депортациями пяти народов Северного Кавказа и Крыма: карачаевцев, чеченцев, ингушей, балкарцев и крымских татар [8, с. 8, 116].

В недавно вышедшей монографии «Общество в вооруженном конфликте. Этнография чеченской войны» В. Тишков указал на то неочевидное обстоятельство, что депортации на этнической основе в социально-культурном смысле не были просто «народоубийством», как это было провозглашено А. Авторхановым и безоговорочно принято в среде «наказанных народов» — в годы репрессий через негативное предписание произошло укрепление идентичности среди чеченцев [10, с. 83, 93]. Этот вывод справедлив и применительно к калмыкам. Имеющие множество идентичностей родового или этнотерриториального порядка (род, кость, хотон, аймак, улус, станица и др.) калмыки до ликвидации республики в 1943 г. жили согласно дореволюционному административному порядку, основанному, как правило, на этих принципах. Разбросанным по восточным районам страны калмыкам было уже не важно, кто торгует, а кто дербет, важной была принадлежность к калмыцкому народу. А после возвращения появилось среди калмыков обращение друг к другу «сибирский земляк».

Депортационный период был белым пятном не только в официальной науке, но и табуированной темой для устных преданий. Сам термин «депортация» появился в общественной лексике только в самом конце 1980-х гг., а ранее этот период упоминался иносказательно: «до Сибири и после Сибири», «во время выселения» и по-калмыцки «до перекочевки и после перекочевки». Однако «история как дисциплина с собственной традицией записи оказывается неспособной на сохранение прошлого, поскольку сама <...> пишется как произведение. Эту неспособность компенсирует память, удерживая в себе то, что отвергает история» [11, с. 265]. Более того, память противостоит истории, она не входит в компетенцию истории как дисциплины и даже противоречит постулатам этой дисциплины [12, pp. 264–281].

Попытки объяснения. Рассказы старших об этом периоде до последнего времени не были нацелены на «адресата». Если заходила речь о событиях 1943–1956 гг., то скорее это было в узком кругу, среди сверстников, имевших тот же опыт, и собеседники понимали друг друга с полуслова, не объясняя подробностей случайно присутствовавшей молодежи. В таких разговорах люди обычно уклонялись от прямых оценок исторических фактов. Как правило, разговоры носили только личный характер. Как это было и у других народов до либерализации конца 1980-х, люди старались не говорить об этом, как будто существовала некая коллективная вина, пусть даже и несправедливо наложенная на народ, и за нее ему приходится расплачиваться [10, с. 80].

Такое замалчивание народной трагедии было связано с обвинением в предательстве всего народа. Вот как вина народа сформулирована в Указе Президиума Верховного Совета СССР за № 115/144: «Учитывая, что в период оккупации немецко-фашистскими захватчиками

территории Калмыцкой АССР многие калмыки изменили Родине, вступали в организованные немцами воинские отряды для борьбы против Красной Армии, предавали немцам честных советских граждан, захватывали и передавали немцам эвакуированный из Ростовской области и Украины колхозный скот, а после изгнания Красной Армией оккупантов организовывали банды и активно противодействуют органам Советской власти по восстановлению разрушенного немцами хозяйства, совершают бандитские налеты на колхозы и терроризируют окружающее население» [9, с. 21].

Несмотря на то, что государственное обвинение сформулировано по нескольким пунктам, в народном сознании отпечатались одно обвинение — в том, что калмыки добровольно пошли на службу в созданное немецким командованием вспомогательное воинское подразделение, которое в пропагандистских целях было названо Калмыцким кавалерийским корпусом (ККК). В народе считалось, что основное обвинение строилось на том обстоятельстве, что на территории республики была сформирована добровольно только одна национальная дивизия, что по численности втрое меньше корпуса. Таким образом, дескать, добровольно в национальном формировании против оккупантов воевало втрое меньше, чем на их стороне, хотя формирование было только названо «корпусом» и по количеству солдат корпусу не соответствовало — прием преувеличения реальных размеров формирования, широко распространенный в военной практике разных народов.

Поскольку обвинение базировалось на «статистике», некоторые люди пытались формулировать оправдание также в числах и пропорциях, обращаясь к тому факту, что Калмыцкая АССР дала один из наиболее высоких процентов Героев Советского Союза в соотношении на жителя республики, и припоминая факты измены Родине представителями других, «не наказанных» народов, например, упоминая армию генерала Власова.

Обвинение всего народа в предательстве было тяжелым ударом по достоинству народа — абсурдные обвинения всегда трудно опровергнуть. Вина воспринималась особенно тяжело, потому что у народов с сильными родовыми традициями категории «честь», «верность» были одними из основополагающих принципов народной этики. Как же объясняли люди причину их выселения?

Наиболее неосведомленные полагали, что таким образом «отец всех народов» Сталин спасал калмыков от порабощения фашизмом. Советская армия освободила территорию Калмыкии в январе 1943 г., но многие люди полагали, что отступление фашистских войск — временное, и оккупанты еще вернутся.

Попытки осознать причины насильственного переселения в отсутствие других легальных возможностей отразились в народной песне. Их авторы сожалели, что ангелы-хранители народа не уберегли его, видели в выселении наказание Богов за грехи, за отход от веры. Кстати, все эти песни исполняются под домбру, почти в танцевальном ритме, и на слух как песни скорби не воспринимаются. В песенных жанрах калмыков есть более престижные — гимны и протяжные песни. Они посвящались вечным проблемам: миропорядку вселенной, смене времен года, любви. В этом контексте сибирская эпопея не была воспринята как достойная вечности.* Надо сказать, что создание песен на калмыцком языке и исполнение их в кругу таких же высланных, тем более, если речь шла о насущных проблемах и делах, каралось сурово. Так, одна из известных калмыцких самодеятельных исполнительниц народных песен В.Д. Попова была арестована за песню про выселение в Сибирь и осуждена по статье 58. 10. части 2 на семь лет лагерей [13, с. 71].

Устные рассуждения о причинах выселения характеризовались попыткой найти персональных виновников трагедии. Обвинялись лично Сталин и его окружение. Как в наши дни писал калмыцкий поэт, в прошлом боевой офицер, о переживаниях депортационных лет,

* Этим наблюдением я обязана своему коллеге к.ф.н. Б. Бичееву.

«больше всего хотелось, чтобы один враг, мой желанный, любимый, дорогой мой враг, усатая сволочь, этот самый Сталин, появился бы передо мной, и я бы всю обойму с наслаждением разрядил бы в него, ах, как я был бы счастлив, если бы это случилось!» [14, с. 38].

Многие восприняли случившееся как страшную ошибку Сталина, который персонально не был виновен в массовых репрессиях, поскольку был занят государственными делами, но он доверял подчиненным, которые на деле были врагами народа и дезинформировали «отца народов». В первую очередь имелся в виду Лаврентий Берия. Так реагировали в основном бывшие представители партийно-государственной номенклатуры, которые писали письма в Кремль, «лично Сталину», пытаясь рационально подойти к объяснению причин депортации и оправдаться. Авторы писем в Кремль почти все были репрессированы вторично и из сибирского поселения попали в лагеря для политзаключенных.

Такая же судьба постигла молодого поэта Давида Кугультинова, который в беседе с земляками выразил мнение, что «с калмыками так поступили потому, что <...> малочисленная национальность, которую можно свободно разбросать <...> Здесь предательство и плохая работа руководства не сыграли столько роли, сколько фактор малочисленности населения и принадлежности к национальным меньшинствам». Но все же в те годы идеологические шоры мешали оценить «решения партии и правительства», и в том же разговоре собеседник отвечал Д. Кугультинову: «В отношении калмыков я прямо говорю: что чего заслужили, то и получили, а единство народов крепнет и будет крепнуть, несмотря на то, что “ударил” по калмыкам» [9, с. 52].

Калмыки были свидетелями депортации российских немцев, около шести тысяч которых были депортированы из Калмыкии в 1941 г. [15, с. 15]. Спустя два года, будучи расселены дисперсно, с самой широкой географией рассеяния, калмыки встречались с представителями других репрессированных народов — немцами, чеченцами, латышами, корейцами, однако они полагали, что в отличие от невиновных (или почти невиновных) калмыков другие народы были выселены, видимо, заслуженно. Это видно из писем калмыцкой интеллигенции «лично Сталину».

«Народы СССР, не исключая даже самой маленькой этнической группы, счастливо и радостно взирают на свое будущее <...> И только мы, калмыки, по нашему несчастью, составляем исключение. Начиная с трагического дня утраты своей национальной автономии, разбросанные по три-пять-десять семей в необъятной и суровой Сибири, калмыки физически вымирают, терпя моральное и национальное унижение» (Гор. Барабинск, 29 апреля 1946 г.) [16]. *«Разновидностью этой версии была такая: “чей-то маниакальный замысел истребить калмыцкий народ. Замысел, вольно или невольно поддержанный остальными, обезличился и стал руководством к действию”»* [17, с. 10].

Часто люди возлагали вину на советскую власть. Так в некоторых народных песнях ответственность за жестокую акцию связывалась с государственной властью: «В один миг калмыки откочевали по указу Верховного Совета», «Красноклесточные калмыки плачут, обиженные властью красных» (Красная кисточка на головном уборе — этноотличительный знак) и сетуют, что власти не разбирались, кто виноват, а кто — нет, выслали всех сразу. Вот отрывок из воспоминаний о тех днях.

«Примерно за три дня до отправки калмыков в Сибирь занятия в школе прекратились, причину нам никто не объяснил, но по селу проползли слухи, что калмыков отправят в Сибирь как предателей и изменников Родины <...> Мама начала беспокоиться, но я стал уговаривать ее, что это нас, конкретно нашу семью, не коснется по той простой причине, что мы являемся красноармейской семьей, что наш отец на фронте сражается с фашистскими захватчиками <...> Про себя я даже допускал такую мысль, что, может быть, какую-нибудь семью и вышлют в Сибирь, но это будет касаться тех семей, у которых кто-нибудь при оккупации немцами служил у них полицаем или старостой. Однако,

что вышлют всех калмыков без разбора, исходя из национальной принадлежности, — такого у меня и в мыслях не было!» [18, с. 84].

И в разговорах депортационного периода порой формулировалось мнение, что «пока эта власть будет, видимо, нас на родину не пустят».

Нередко виновными молчаливо считали «русских», которые были заинтересованы в калмыцких землях, и таким малым народом, как калмыки, могли пренебречь. При этом подразумевалось не славянское население республики, оставшееся на территории республики, которые скорее считались хохлами, а «русские вообще» как самые многочисленные жители государства. Эта последняя версия формулировалась реже других, потому что в советский период обвинение в национализме или разжигании национальной розни было особенно опасным по УК и просто считалось неприличным, тем не менее, она имплицитно присутствовала и находила свое вербальное выражение — чаще среди поколения, родившегося после возвращения.

Образованные люди пытались найти рациональные объяснения, например, народ сослани из-за необходимости переброски трудовых ресурсов на восток страны. Хотя найти рациональные объяснения иррациональности массовых истреблений, видимо, невозможно.

В этой связи часто выражаются сожаления о невозможности разобраться в этой трагической странице истории. *«Теперь я вижу, что здоровым разумом это невозможно понять: из какой политической или военной необходимости совершили это насильственное переселение малочисленного народа» [18, с. 163].*

«Найти какое-либо объяснение такому произволу невозможно <...> Почему так получилось, что самые жестокие и невыносимые страдания достались именно нам? Был ли это чей-то преднамеренный выбор, или это произошло случайно? Почему никто так и не понес никакого наказания за те злодеяния, которые учинились над нами? Похоже, что на свои вопросы я ответа не дождусь» [17, с. 139].

Вслух о депортации. Первыми, кто заговорил о депортации в годы перестройки, оказались калмыки — представители творческой интеллигенции, проживавшие в Москве, более свободные в публичном выражении своих взглядов, нежели жители республики. По сценарию одного из них, драматурга Олега Манджиева были сняты два художественных фильма «Гадание по бараньей лопатке» и «И вечно возвращаться». После успешной апробации первого фильма в Москве (1988) и в Элисте, а он был как бы «защищен» производством на Рижской киностудии, стало ясно, что говорить на эту тему уже разрешено.

В этом же 1988 г. заговорил о депортации с трибуны Верховного Совета СССР депутат, Народный поэт Калмыкии Давид Кугультинов, начав выступление своими стихами: «От правды я не отрекался, я был и есть калмык» [19, с. 24–26]. Его выступление было воспринято как «разорвавшее постыдное молчание», хотя то, что было разрешено в области слова поэту-депутату, не распространялось на весь народ, и для выхода научных публикаций понадобилось еще несколько лет.

В 1990-е гг. табу на «тайную историю» калмыков было снято, депортационный период стал популярной темой общественных обсуждений. Из народа-изгоя калмыки стали примерять и развивать образ народа-мученика в буддистском понимании страдания. В эти годы появилось немало мемуаров, это была беспроектная тема в искусстве и литературе. В начале 1990-х авторы спешили «застолбить» за собой перспективную научную тематику, однако кроме трех брошюр никаких фундаментальных научных трудов так и не появилось. Что было сделано? Опубликованы ряд архивных материалов о выселении и воспоминания, которые группировались по признаку субъектности: воспоминания узников Широкагла, воспоминания выселенных на Таймыр.

Особенно были активны газеты, которые посвящали целые полосы письмам читателей о годах в депортации, в то время как литературно-художественный и общественно-

политический журнал «Теегин герл» (Свет в степи) предоставлял свои страницы для мемуаров профессионалам пера.

Однако будучи написанными, истории персонального опыта приобретали трагическую тональность, которая в устных рассказах отсутствовала. Как правило, выступления в публичной сфере содержали благодарность сибирякам как необходимое выражение лояльности к государству и как доказательство «объективности» высказываний: раз мы честно помним про добро русского народа, значит, наши беды — тоже правда. Раз вы разрешаете нам говорить о добре русского народа, разрешите нам говорить и о трагедии калмыцкого народа.

«Мама всегда рассказы о своих мытарствах начинала с того момента, как русский капитан помог погрузить теплые вещи на телегу. И все родные начинали благословлять его, желать ему всяческого здоровья. И мы искренне верили, что капитан жив. А бабушка вплетала слово “капитан” в свои буддийские молитвы. Старшие говорили, что если бы не он, то мы примерзли бы к вагонному полу навсегда» [20].

«Помню, как увозили нас со станции в русские села <...> Многие встречающие приехали с тулупами, чтобы обогреть. Хотя береговцы пускали слухи, что едут люди с кинжалами на поясе, людоеды. Вначале смотрели недоверчиво. Но потом оттаяли, и часто крестьяне жалели нас и помогали. Сердце у русского народа большое и доброе» [21].

Если два приведенных рассказа принадлежат женщинам и могут быть истолкованы как «женская сентиментальность», то вот выдержка из мужских воспоминаний, в которых повествование незаметно переходит в традиционный калмыцкий жанр благопожеланий:

«С нами остались два солдата, один из них, пожилой, был такой добродушный, видно, из крестьян. Он всем видом старался показать, что в душе он полностью сочувствует нам, видит, как несправедливо поступает с нами власть, но он солдат и выполняет приказ начальства. Как только офицер ушел, он сказал маме и дяде, чтобы мы брали с собой вещи потеплее, что нас повезут в холодные края, в Сибирь и чтобы побольше запаслись продуктами, так как дорога предстоит дальняя, а потом спросил: “Есть ли у вас что-нибудь из живности?” Мама ответила, что есть бычок, тогда он посоветовал, что его надо зарезать. Жаль, что мы в этой суматохе не спросили у доброго солдата ни имени, ни фамилии, ни откуда он родом. Спешно солдат вместе с дядей зарезали бычка, мама быстро растопила печь и начала варить мясо на дорогу. Пока мясо варилось в котле, солдат помог маме упаковать все вещи в чемодан и узлы. Благодаря этому красноармейцу мы смогли забрать с собой почти всю одежду и запастись продуктами на дальнюю дорогу. Спасибо тебе, русский солдат, за твое благородное, человеческое сострадание к несчастной калмыцкой семье фронтовика, может быть, благодаря тебе, мы живыми добрались до Сибири и выжили в сибирской ссылке. Мы тебя никогда не забудем и будем благодарить Бога за твое здоровье, если ты жив, а если нет, пусть будут счастливы твои дети и внуки» [18, с. 86].

Должна отметить, что благодарность русским людям — не просто обязательные реверансы, это искренняя благодарность конкретным людям, которые помогали в той или иной трудной ситуации — накормили, поделились теплой одеждой, дали приют, приняли роды, были друзьями, подругами, одноклассниками, соседями, сотрудниками, учителями и учениками. Для многих калмыков это были годы юности, которая теперь кажется самым лучшим периодом жизни.

Мой старший коллега, зав. кафедрой этнографии Омского государственного университета Н.А. Томилов рассказывал, как он приехал на сессию по итогам полевых этнографических исследований в Элисту в 1981 г. и был удивлен особо почетному приему. «Я только что защитил кандидатскую диссертацию, и мне казалось, что персональная встреча в аэропорту,

званный ужин мне как бы не по статусу. А мне ответили калмыцкие коллеги: “Так ты же — наш земляк, мы же в Омске и Омской области нашу молодость провели”».*

Благодарность русским людям — это еще и отражение официального дискурса родины, в котором дружба народов была священной (а ставить под сомнение «святыни» было невозможно), и если бы такой поддержки не было, то и калмыцкий народ оказался бы среди недругов одиноким, символически утерев родину, не покидая ее государственных границ. Сочувствие сограждан-некалмыков, а именно, русских, которые количественно доминировали в СССР, а также были «первыми среди равных», отвечало ожиданиям «большой» аудитории — этнически русской, официальной Москве и подчеркивало нравственное чутье русского народа, который был умнее и добрее руководителей партии и государства. Как писал М. Бахтин, высказывание как таковое всецело продукт социального взаимодействия, как ближайшего, определяемого ситуацией говорения, так и дальнейшего, определяемого всей совокупностью условий данного говорящего коллектива [6, с. 428].

Имевшая место история рассматривалась как суровое наказание Родины-матери, строгой к своим детям, но и справедливой. В связи с этим вспоминаются и слова известной песни, которые теперь получают иную акцентировку: «С чего начинается родина? Со стука вагонных колес».

Важное место в «сибирских» воспоминаниях занимает память тела. Тело является важным хранилищем информации о прошлом, биоархивом, в котором хранится все существенное, имеющее отношение к биографии человека. Все тяготы, которые могут «забываться умом», помнятся телом, память которого надежнее. В состоянии шока люди забывали, сколько дней ехали в поезде, на какой станции выносили тела умерших родственников, но то, что было холодно, голодно, вкус хлеба, который сунула добрая старушка на станции — это не забывается даже теми, кто был совсем мал.

«Каждое лето я нас коров. Вспоминается один случай. Я и еще один мальчик рано утром гоним стадо, это часиков в полшестого-шесть утра, — холод, роса. А мы босые, ноги мезнут, и мы греем их, наступая в горячие коровьи “лепешки”. Ноги в цыпках, потрескавшиеся» [22, с. 2].

«Ушли солдаты, а мама горько заплакала: куда это нас повезут и за что? Потом успокоилась и, как сейчас помню, надела она на меня сразу три платья, собрала два чемодана и опять заплакала» [23, с. 2].

Песни, написанные о депортации — все на калмыцком языке, независимо от того, самодеятельный или профессиональный автор писал текст. Читая тексты этих песен, видишь, как остаются непереверденными русские слова, отражающие жестокие реалии и официальный репрессивный дискурс. Например, в одном из куплетов песни «Чирлдяд гарсн вагонмуд» (Волоком тянущиеся вагоны) есть такие строки:

*Декабрь сарин 28-д
Дивяр даврж йовувдн,
Дивяр дяврж йовувчн,
Деерк бурхн оршатхя [13, титульный лист].
(28-го декабря
Преодолевая горести, мы тронулись в путь,
В то время как мы, преодолевая горести, трогаемся в путь,
Пусть нас охраняют высшие боги)*

* Было рассказано и записано во время IV Конгресса этнологов и антропологов России в Нальчике в 2001 г.

В этом тексте упоминается дата 28 декабря. В калмыцком языке декабрю соответствует месяц Барса по лунному календарю. Поскольку зловещий указ был датирован 28 декабря, и именно эта дата памятна в народе, в текстах калмыцких песен осталось число — 28 декабря по-русски. Существует небольшая разница в числах между лунным и грегорианским календарем, поэтому авторы не переводят дату трагического события, иначе теряется 28-е число, уже впечатанное в Историю. Таким образом, авторы зафиксировали исторические события, внутренне отстраняясь от языка обвинения и наказания. Кроме «декабря» в песнях остаются непереуведенными с языка репрессий такие слова, как «вагон», «вагон-товарняк», «указ», «советы», «область» и др. Тексты песен о депортации четко показывают, что все эмоции — боль, обида, горечь, тревога, скорбь, а также слова молитв и другие фрагменты приватной сферы — все это выражено по-калмыцки. Официальная политическая терминология остается в калмыцком тексте по-русски, непереуведенной, но не из-за проблемы адекватного перевода (в республике и до войны издавались официальные документы на калмыцком языке), а из неприятия и нежелания допускать термины отчуждения в родную речь.

Государственное отношение к депортационной проблематике сдержанное и по сей день: депортационная проблема находится под идеологическим контролем государства — и Центра, и местной администрации, которая в вопросах, связанных с межнациональными отношениями и территориальными претензиями, часто особенно осторожна. В отличие от Центра, задача которого — в рутинизации проблемы, местная власть заинтересована в том, чтобы управлять депортационным дискурсом — не допустить его забвения и в то же время не позволить его чрезмерного развития, особенно появления новых лидеров, использующих энергию обиды/травмы.

Проблема депортации не забывается, и в определенные дни — 28 декабря, 23 февраля и 9 мая — становится в обществе приоритетной, но тональность публичных заявлений сдержанная, обращенная в прошлое. Основное послание этих обсуждений — такие трагедии не должны повторяться. Как написал в предисловии к сборнику документов «Ссылка калмыков: как это было» Президент РК Кирсан Илюмжинов, «мы и наши потомки должны знать и помнить, как это было, чтобы горький урок Истории больше никогда не повторился. Таков завет тех, кто не вернулся из далекой холодной ссылки в родные степные просторы. Будем же достаточно мудры, чтобы не пренебречь опытом прошлого, потому что это нужно для нашего будущего» [15, с. 4]. Вопросы, связанные с восстановлением республики, но не решенные политически, как, например, Указ о реабилитации, вопрос о возвращении территорий и другие «трудные» вопросы сегодня не ставятся, не педалируются.

Согласно Закону «О реабилитации репрессированных народов» калмыки получили материальную компенсацию за личное имущество и домовладение (100 минимальных зарплат за домовладение и 40 — за личное имущество). Порядок оформления права на компенсацию предусматривал наличие 8 документов, собрать которые старикам было непросто или невозможно. Например, требовалась метрика, которая у многих отсутствовала, так как ЗАГСы в Калмыкии появились только в 1926 г., или для получения компенсации за утерю домовладения необходимо было предъявить справку из домовой книги довоенной поры, в то время как большая часть местных архивов пострадала во время войны. Подобная процедура долгого оформления доказательств депортации была воспринята стариками как новая депривация. «Нас высылали поголовно, не спрашивая документов, в таком же порядке надо было бы и выдавать компенсации», — говорили они.

В школьных учебниках и в вузах республики нет специального курса, как и нет единого печатного текста по этой теме. Учителя ведут уроки по собственному усмотрению, и на эту тему выделен один академический час.

Приватно. В годы умолчания транслятором истории этого периода могли быть женщины как очевидцы событий, но они и ныне не любят вспоминать этот период.

«Я знаю только то, что мне известно из скурых рассказов матери. Она не любила распространяться на эту тему, потому что эти воспоминания не доставляли радости: слишком много несправедливости выпало на ее долю» [17, с. 157].

«Вокруг было столько людского горя, что свои переживания приходилось носить молча» [17, с. 138]. *«Я ни разу не спрашивала мать об этом. Боялась доставить ей новые страдания».* Наиболее драматичные истории умалчивались сознательно: *“Я не буду вспоминать о том, как выселяли. Чересчур тяжёлая картина получается”*» [17, с. 206].

Нежелание усложнять жизнь своих детей отягощающими знаниями было прямым следствием депортационного опыта. Необходимость раз в месяц являться в комендатуру для всех совершеннолетних калмыков было самой тягостной повинностью, об этом свидетельствуют многие воспоминания. Казалось бы, что в этом такого, кроме символического унижения — расписаться, что ты на месте, не сбежал, что твоя каторга продолжается? Однако эта процедура сопровождалась собеседованием с комендантом, который, выполняя свой план поиска врагов и желая выслужиться, вполне мог «пришить» любое антисоветское дело. Если взрослые люди были всегда начеку, то неопытные подростки могли проговориться о чем-то таком, что могло быть недоброжелательным комендантом представлено как донос. Неудивительно, что у детей, выросших в Сибири, как правило, был убавлен возраст, чтобы отсрочить обязанность подростка идти на собеседование с комендантом, и только много позже, перед выходом на пенсию, постаревшие сибирские дети спохватывались и торопились в архивы подтвердить свой действительный год рождения.

Спустя десятилетие после восстановления республики ее потрясли открытые судебные процессы над «карателями», как называли солдат Калмыцкого корпуса. Я была ребенком в то время, но хорошо помню тягостную атмосферу подавленности тех дней и страшное слово «процесс». Народ унизили повторно, дав понять, что калмыков было за что выселять. Высшая мера наказания для подсудимых заставила забыть народ о всех обидах на государство, потому что был нарушен древний правовой принцип — не дважды за одно и то же. Значит, и депортация могла повториться... (Такую возможность старики допускали и позже, например, в 1994 г., во время дебатов вокруг замены Конституции Республики Калмыкия Степным Уложением, и молодым людям было их не понять). Эта наведенная память, сфокусированная на изменниках родины, возможно, заставила народ поверить в свою вину, в справедливость наказания и замолчать о депортации надолго.

Характерной чертой смены приоритетов последнего десятилетия стало повсеместное переименование улиц и площадей. Несмотря на это, одна из улиц Элисты носит имя Серова, которое ассоциируется в народе с именем генерала НКВД И.А. Серова, руководившего операцией «Улусы». И хотя сотрудники государственного архива утверждают, что человек, в честь которого названа улица — другой Серов, красноармеец-герой, не имеющий отношения к выселению народа, в сознании людей остался только один Серов, тот, что выселял калмыков.

Для рассказов в приватной сфере характерно обращение к «смешным» сюжетам, — которые на деле веселыми не были, но таковыми преподносились спустя годы как воспоминание о пережитом страхе. Вот две истории, относящиеся к наиболее трагичному периоду — дороге в Сибирь.

«На коротких редких остановках надо было набрать на всех воды, запастись топливом по возможности, выменять еду. Но в вагоне на всех ехало только двое мужчин — подросток, который и рассказал эту историю, и дед. Все остальные — женщины с малыши детьми и старухи. В дороге старухи стали страдать поносом, и надо было их выгружать из вагона, а потом подсаживать, поэтому времени на заготовку воды и прочего не оставалось.

Тогда дед наказал подростку на следующей остановке достать, а попросту — украсть топор, с чем парень успешно справился. Дед вырубил в полу вагона дырку, чтобы бабки могли справлять нужду без посторонней помощи, и уже на очередной остановке они спокойно запаслись водой».

«Одна семья по прибытии в Сибирь была определена в деревню, до которой надо было идти пешком десять километров. Семья состояла из молодой женщины с тремя детьми: старшему было пять, младшему — год, и старика-инвалида, ее свекра. Когда их выгрузили, выяснилось, что женщина может взять на руки только двоих детей. Она окидывает всех взором и выбирает старших, у которых больше шансов выжить. Младшего она сажает на сугроб, и не оглядываясь, медленно удаляется с двоими на руках. Малыш плачет, этот плач подхватывает вьюга. Одноногий старик топчется вокруг ребенка, который к тому же мальчик, не в силах вот так оставить своего младшего внука, но костыль не дает ему взять ребенка на руки. И вдруг на глаза ему попадает воловья шкура, которую они взяли в дорогу, и, выгрузившись, оставили, потому что нести ее не могли. Старика осенило решение — он взял шкуру, посадил на нее малыша и за хвост потащил шкуру за собой».

Оба эти рассказа я слышала от своего коллеги по-калмыцки,* сюжеты преподносились весело, почти как в анекдоте: вот трагическая, казалось бы, безвыходная ситуация — но решение всегда неожиданно находится.

Приведу историю своего отца Мацака Гучинова, известного среди друзей шутника, чувство юмора не покидало его в любой, самой трагической ситуации. Рожденный в 1921 г., он пошел добровольцем в 110-й ОКЖД, воевал на Северном Кавказе и был тяжело ранен, после чего весной 1943 г. временно комиссован и направлен в распоряжение Элистинского военкомата. Так как сам он был родом из пос. Улан Хол, где жила вся родня, в Элисте он снимал комнату в доме русской женщины, поэтому в списки операции «Улусы» не попал. 28 декабря солдаты пришли в каждый калмыцкий дом, в том числе в дом его друга — фронтовика Басана Манцынова, и забрали его жену Тасю с двумя детьми. Калмыков в Элисте собирали в кинотеатре «Родина». Пока ожидали транспорт, Тася вспомнила, что в ателье готово ее зимнее пальто. Она стала просить солдат разрешить забрать его из ателье, ей разрешили, дав в сопровождение двух солдат. Забрав пальто, Тася возвращалась к кинотеатру. В это время, а было восемь утра, шел на работу мой отец, в дом которого, принадлежащий русской домохозяйке, не пришли. Увидев жену друга рано утром под конвоем, отец стал подшучивать, дескать, что же ты ночью такого натворила, что тебя солдаты сопровождают? Это было сказано по-калмыцки, и испуганная Тася поняла опасность ситуации. «Кажется, этот человек не знает, что происходит», — сказала она солдатам. Те позвали отца и объяснили ситуацию. Так отец присоединился к остальным выселенцам. Позже, рассказывая эту историю, он подводил итог: «Вот так всех калмыков выселили насильственным образом, а я поехал в Сибирь добровольно».

Такое сочетание ужаса и смеха, смех как воспоминание об ужасе, помогающий пережить его, преодолевающий страх — возможно, универсальное явление человеческого поведения в экстремальных, катастрофических ситуациях. Например, подобное было отмечено антропологами среди пострадавших от Спитакского землетрясения.**

В частных беседах порой мне слышится скрытая гордость, когда речь идет об особой жестокости калмыцких «карателей». Например, в рассказе о том, как группа студентов-стройотрядовцев оказалась на Западной Украине в каком-то доме, и у единственного азиата старуха спросила: ты калмык? Парень был смысленный и понял, почему старуха из всех восточных народов СССР выделила калмыков, спросил: «Что, были здесь калмыки?» —

* Оба сюжета были мне рассказаны к.ф.н. Б. Бичеевым.

** Этим наблюдением со мной поделился мой коллега Л. Абрамян.

«Были, ох, лютовали» — был ответ. Коллега, рассказавший мне эту историю, слово «лютовали» произносил с нескрываемым удовольствием и торжеством. Подобную жестокую гордость я и сама испытала, когда после просмотра фильма Н. Михалкова «Урга» у меня спрашивали московские друзья, соответствует ли жизни показанная на экране практика умерщвления барана, когда сердце животного останавливается сжатием кулака человека.

Обида на государство была сформулирована не только за то, что народ был выселен с родины в самых жестоких формах, но также и за то, что «брошены на бесчестье, лишены своего сыновьего права и долга защищать Отечество» [17, с. 48]. Думаю, это было существенно для представителей народа, который пришел в Россию и остался в ней навсегда как народ-воин, защищающий интересы Родины — России. Отказ от возможности нести воинскую службу в исторических категориях означал и отказ от предоставления гражданства и расторжение договора от 1609 г. Договорность, лежавшая в основе калмыцко-русских отношений, была заменена тем типом отношений, который Ю. Лотман формулировал как «вручение себя». Отношения такого рода всегда односторонни: отдающий себя во власть рассчитывает на покровительство, но отсутствие его не служит основанием для разрыва, одна сторона отдает все, другая может дать или не дать, психология обмена исключена. Ликвидация Калмыцкого ханства, исход 1771 г., исход в гражданскую войну, сибирский этноцид имели результатом готовность жертвовать всем ради главного: сохранения народа. При выселении калмыков случаи неповиновения не были массовыми, все формы протеста, в основном, были легитимны: письма, песни, разговоры, при этом их тональность была не обвинительная, а оправдательная.

Официально. 28 декабря объявлен Днем Памяти и отмечен государством как нерабочий день. В этот день принято устраивать митинги памяти, в хурулах (буддийских храмах) идут специальные службы. Сакрализация памяти отражена в создании двух мемориалов — памятного камня и авторского «Исход и возвращение» Эрнста Неизвестного. Такое название второго мемориала не случайно — это также отражение официального подхода: ставить в один ряд обе акции, выселение и возвращение. Таким образом как бы искупается вина: ошибка была совершена и позже исправлена, вопрос исчерпан. Но слово «исход» при всем трагизме своего содержания означает нечто другое, нежели депортация — это также насильственная акция — вынужденное бегство, но во время исхода люди сами выбирают время и маршрут своего бегства. Так что волей или неволей история преподносится властными структурами в смягченных тонах, а по справедливому замечанию И. Сандомирской, «политический язык творит условия политической реальности» [11, с. 206]. Важно отметить, что в этом наименовании вторая часть «возвращение» содержит намек на везение, поскольку не все выселенные народы были возвращены на свои территории, поэтому надо радоваться, что возвращение калмыцкого народа состоялось.

Депортации калмыков посвящен один из залов в краеведческого музея Элисты. Музей обладает более чем скромной экспозицией, поскольку сам стал жертвой депортации. По законам музейной жизни в случае форс-мажорных обстоятельств персонал музея обязан сдать экспонаты сотрудникам близлежащего музея и только потом покинуть свой пост. Но в служебных инструкциях ликвидация государственности не предусматривалась в качестве особых обстоятельств. Поэтому музей был оставлен как есть, его фонды существенным образом пострадали, были распределены и до сих пор находятся в иногородних музеях. После восстановления республики пришлось воссоздавать экспозицию музея заново. Однако собрать экспонаты, иллюстрирующие материальную культуру калмыцкого народа, сосланного «навечно», вычеркнутого из всех энциклопедий, оказалось практически невозможным: выставленные предметы немногочисленны и фрагментарны. Зато зал о депортации благодаря скудости музейных экспонатов становится более красноречивым, а сам музей превращается в ее иллюстрацию.

Как же выжили? Воспоминания о депортационных бедах часто сводятся к вопросу — как же выжили, что помогло? Объяснения различны. Многие считают, что «провидение спасло», «может быть, помог Всевышний, не дал пропасть нашему роду». Как писал в своих воспоминаниях отец президента РК Николай Илюмжинов, из поколения в поколение в их семье передавались буддистские реликвии — статуэтки Будды, иконы, четки, кюрде (ритуальный барабан с молитвами), чашечки для возжигания лампад. *«Сегодня, глядя на эти духовные семейные святыни, думаешь о том, что, может быть, благодаря им мы остались живыми и вернулись из Сибири на родину <...> Кто знает, может быть, некий родовой гений-хранитель оберегал нас, и в Сибири наша семья никого не потеряла, хотя с лихвой испытала все невзгоды и страдания, выпавшие на долю калмыцкого народа»* [18, с. 10]. Большинство людей полагают, что выживание стало возможным из-за необходимости «заботы о родных и постоянного труда», благодаря поддержке земляков, в том числе — старших калмыков и других добрых людей (не калмыков). Способствовали выживанию вера, молитвы и общение со священниками. Монахи и народные целители лечили методами тибетской медицины, предсказывали возвращение домой. Очень помогали в трудные годы вечеринки с земляками, на которых исполнялись калмыцкие песни и танцы. *«Как только был поставлен первый жилой барак, тесный и неудобный, калмыки затягивали любимые песни. Появлялась на свет гармошка, и измотавшиеся на работе люди преображались. Откуда брались силы, не знаю. Но танцевали, веселились без устали. А наутро шли снова стынуть на холоде»* [17, с. 150].

Почему вспоминают? Многие авторы воспоминаний (эго-документов) сами формулируют мотивы и цели своих публикаций. «Простые» авторы писем в газеты или герои «историй жизни» обычно незамысловаты в своих интенциях. *«Так уж водится, что с возрастом человек все чаще оглядывается на пройденные годы. Особенно обостряются чувства, когда смотрю на своих внуков. Как сложится их жизнь и какие сюрпризы преподнесет?»*, *«Не помнить этого нельзя, если дорожим памятью о близких нам людям»*. Люди, профессионально занимающиеся историей Калмыкии/России, ставят перед собой более четкие задачи: *«думаю, что растущая молодежь и последующие поколения смогут извлечь из моих воспоминаний полезные для себя уроки, имею в виду, что и самый простой рядовой член общества может проявить себя в экстремальных условиях, выдержат самые строгие испытания жизни, устоять на собственных ногах, не потерять человеческого достоинства и остаться полезным окружающим его людям и своему народу»* [24, с. 4].

В 1994 г. был организован Поезд Памяти «Калмыкия — с благодарностью сибирякам», который совершил тот же скорбный маршрут в Сибирь. Триста человек зимним днем поехали, чтобы снова посетить места, «где мой народ, к несчастью, был». Это было надо и людям, и властям. Почему? Не потому ли, что память — не только хранитель текста коллективной идентичности, но прежде всего и редактор этого текста [11, с. 265]. Поэтому, когда появилась возможность создания новых дискурсионных практик, руководители республики не упустили шанс направить энергию травмы в наиболее безопасное русло, создавая официальные оценки, приемлемые и для властей, и для людей.

Как пишут авторы писем, «иногда встречаемся со сверстниками тех лет, так становится на душе тепло. Ведь мы выдюжили». Обращение к трудному периоду полувековой давности является хорошим фоном для сравнения с современными достижениями человека (а также и государства/республики), какими бы скромными они ни были. Не случайно многие опубликованные письма заканчиваются как бы отчетом — итогами своей жизни, главными из которых обычно считается то, как «вырастили детей и дали им образование». Вот характерная концовка одного из таких писем: *«В конце 1958 года я с семьей выехал на родину. Впоследствии мои дочери и сын выбрали себе специальности, закончили высшие*

учебные заведения и твердо теперь стоят в этой жизни. Теперь тревожусь только за внуков и правнуков» [17, с. 81].

Таким образом у калмыков не произошло двойного отрицания, как это было у чеченцев [10, с. 83], негативное отношение к самому факту депортации не распространилось на часть жизни, проведенную в выселении.

Как случайно оговорился калмык, оказавшийся в годы войны за рубежом, о своей реакции на известие о депортации, ему «хотелось верить и не верить». Ясно, почему не верить, а хотелось ему верить потому, что эта трагедия оправдывала невозвращение на родину, даже задним числом.

В мотивах публичных воспоминаний нередко проскальзывает та или иная жизненная проблема — восстановление трудового стажа, восстановление льгот как участника войны, причем часто в поколении, родившемся после возвращения, которое имеет свои виды на материальные компенсации старшего поколения. Как писал М. Бахтин, какой бы момент выражения-высказывания мы ни взяли, он определяется реальными условиями данного высказывания, прежде всего ближайшей социальной ситуацией [6, с. 420]. Должна признаться и я, что в своих заявках на гранты, если это бывает уместно, упоминаю факт депортации как причину для особого внимания к заявке по калмыцкой этничности.

Все же отношение, основанное на сознательном использовании травмы, чаще встречается в политической среде. Политики, например, получают благосклонность Центра в обмен за умалчивание проблемы территориальной реабилитации. Возможно, это универсальное отношение «политических наследников травмы», которые стараются использовать в политической борьбе все ресурсы, включая исторические. Во всяком случае, подобное можно наблюдать с «армянским вопросом», «переосмысление которого происходило в связи с нуждами республики» [25, с. 39].

В современном дискурсе очевидно, что «простые» люди относятся к воспоминаниям о депортационных годах сдержанно, как к большой беде, которая уже пережита и осталась в прошлом. Представители творческой и научной интеллигенции и политики склонны к сакрализации травмы, они квалифицируют депортацию как геноцид, их оценки более эмоциональны и апеллируют и к настоящему, и к будущему. Как написал в своем обращении к читателям книги «Калмыки. Выселение и возвращение» проф. В.Б. Убушаев, «пока жив народ <...> появятся десятки, сотни книг по депортации калмыцкого народа <...> Я этого желаю» [26, с. 4].

«Драматическая презентация прошлого» особенно удастся талантливым режиссерам, актерам, композиторам и писателям. Я сама на каждом спектакле «Араш» Калмыцкого театра детского творчества, а я посмотрела эту драму трижды, рыдала, не в силах сдерживать эмоции. Также волнующими с детства были для меня страницы повести «Три рисунка» А. Балакаева. Моя 35-летняя подруга не может без слез слышать «Балладу о выселении калмыцкого народа» в исполнении группы «Калмыкия». «Каждый раз плачу», — признается она. Пытаясь анализировать свои чувства, вызванные произведениями настоящего искусства, а не попытками эксплуатировать модную тему, которых немало, я не услышала в себе желания мести или поиска виновных, а скорее чувства, близкие катарсису.

Современный дискурс представлен разными версиями.

Калмыки в Калмыкии уверены, что народ был незаконно выслан тоталитарным сталинским режимом, поводом к выселению послужило обвинение в том, что в добровольных калмыцких формированиях было меньше солдат, нежели в Калмыцком корпусе. Проблема депортации продолжает оставаться важной для людей, которых выслали, людей, рожденных в депортации, и их детей. Внуки гораздо более свободны от посттравматического комплекса и как факт личной истории насильственное выселение не воспринимают. Более того, мне приходилось слышать шутовское сетование: «жаль, что не все

калмыки ушли с оккупантами, жили бы мы все сейчас в Америке». Таким образом, память о депортации не стала у калмыков «корневой парадигмой», каковой стала память о геноциде для армянского народа [27, pp. 63–70].

Все же «народное толкование» причин и истории депортации устойчиво во времени. Работая над этой статьей, я постоянно ощущала, что не могу полностью отстраниться от утвердившихся в народе представлений, что постоянно возвращаюсь к тем формулировкам, о которых слышала давно и которые воспринимаются как истинная, «народная история», дистанцироваться от которой нелегко.

Жители республики-не калмыки полагают в большинстве своем, что народ были выселен за действия Калмыцкого карательного корпуса, который зверствовал на Украине.

Остальное население страны, если и помнит о депортации калмыцкого народа, то скорее считает, что калмыков выселили за то, что они сотрудничали с оккупантами и доброжелательно встретили новый порядок.

Представители зарубежной диаспоры чутко относятся к различным оценкам депортации, это важный, выстраданный для них вопрос. На памяти поколения — детей белой эмиграции, остались волнения, вызванные слухами о выселении народа, о его уничтожении. Именно дети первой волны эмиграции, получив возможность подать голос в защиту калмыков в СССР, а также и депортированных народов Кавказа, били тревогу и обращались в ООН и другие международные организации. Представители этого исхода были казаками Великого Войска Донского и в дореволюционные годы проживали в 13 калмыцких станицах, которые позже были преобразованы в Калмыцкий район Ростовской области. В 1944 г. этот район был ликвидирован, калмыки высланы, станицы переименованы, позднее Калмыцкий район в Ростовской области не был восстановлен и калмыки там уже не селились. Таким образом донские калмыки потеряли свою «малую родину» и пострадали от Указа 1943 г, несмотря на то, что лично выселены не были.

Для представителей второго исхода, а это были и солдаты Калмыцкого корпуса, и военнопленные, и гражданское население, волею судьбы оказавшееся в американской зоне Германии, это еще более болезненный вопрос. И сегодня многие люди в Калмыкии полагают, что если бы не было Калмыцкого корпуса, то не было бы и повода, который использовали бы для депортации калмыков. Приехавшим на празднование «Джангариады» в 1990 г. калмыкам из США порой ставили в упрек, что если бы их родители не ушли с немцами, то калмыков бы и не выселили. Многие еще крепкие старики, покинувшие родину в 1943 г., даже после падения железного занавеса боятся навестить родные степи, поскольку КГБ арестовал одного из них, американского гражданина, рискнувшего поехать на родину в гости в 1987 г., вскоре этот человек был осужден и расстрелян. Навязанное чувство вины преследует многих из живых корпусников, недаром они так не любят говорить на военные темы с чужими людьми.

В оценке депортационной истории обе волны калмыцкого исхода единодушны. Лидеры калмыцкой общины в США встречались с советским перебежчиком подполковником Бурлицким, который лично участвовал в акциях выселения многих народов и в операции «Улусы» в том числе. Его рассказы имели широкий резонанс среди людей, как и книга А. Некрича «Наказанные народы», которая содержит отдельную главу, посвященную калмыкам, и хранится в личных библиотеках многих калмыков в США. По общему мнению калмыцкого зарубежья, калмыков в СССР выселили коммунисты, которые отражали интересы русского большинства, заинтересованного в калмыцких территориях.

Тем не менее возникает вопрос, почему у одного народа депортационный комплекс стал рычагом для эскалации конфликта и открытых военных действий, а у другого — нет? Действительно, чеченцы и калмыки в годы депортации были в равных условиях по статусу, но в разных жизненных условиях. Калмыки были расселены дисперсно (от Сахалина до Урала, от Таймыра до Средней Азии, при этом в Средней Азии и Казахстане было

значительно меньше калмыков, нежели в северных регионах), попали в незнакомые природные условия — из степей в таежные леса, а чеченцы — более компактно, в Казахстан и Киргизию, где климат был мягче, проживали братья по вере, и в похожую горную местность. Вследствие этого калмыки вернулись с большими демографическими потерями, было выслано около 120 тыс. человек [27, pp. 41], а вернулось менее 78 тыс., из них почти 26 тыс. детей [9, с. 77], в то время как чеченцев было выселено 387 тыс. [8, с. 122], вернулось 356 тыс. чеченцев, из них детей около 150 тыс. [10, с. 88].

Материальный интерес был существенным фактором в инструменталистских стратегиях мобилизации депортационной травмы среди чеченцев. По мнению В. Тишкова, чеченцам было за что бороться: столица республики Грозный с его жилищным фондом, нефть и власть не были под контролем чеченцев. В отличие от Чечни в Калмыкии не было такого богатства, за которое стоило сражаться политически и вооруженной силой, в то же время калмыки были гораздо лучше представлены во властных структурах, чем чеченцы в Чечне. Элиста не была русским городом, и хорошие городские квартиры не могли стать возделенной целью, достижимой через наказание иноэтничного.*

В эпоху гласности, ставшей временем осмысления насущных задач социального развития народов СССР, калмыки столкнулись с двумя обстоятельствами. Одно из них — угроза утраты калмыцкого языка, которая была воспринята как самая важная. Второе — трагедия с непредумышленным заражением через ВИЧ-инфицированные препараты крови 75 детей и 13 матерей в республиканской детской больнице в 1988 г. Трагедия широко освещалась в СМИ, но преподносилась как вина местных медработников, а не как халатность федеральных служб. Донести эту точку зрения представители республики до общественного мнения страны не смогли. В это время жители республики за ее пределами подвергались остракизму: их не селили в гостиницах, на машинах с калмыцкими номерами писались обидные слова, калмыков нередко называли «спидниками». Вновь калмыки почувствовали себя изгоями, к счастью, ненадолго. Возможно, что этот непродолжительный опыт депривации показал, что небольшой народ в отсутствие демократических институтов ограничен в возможностях.

Перспективы для большого маневра в потреблении депортационной травмы калмыков в современном политическом поле отсутствуют, а мелкие ресурсы потребления (материальные компенсации, снижение возраста для пенсии и проч.) практически исчерпаны.

В этой связи можно полагать, что при благополучном развитии республики эта травма, как и предыдущие, будет в недалеком будущем рутинизирована.

Известно, что передача информации от поколения к поколению носит, по определению Музиля, характер «неточного цитирования», и на примере межпоколенной трансляции информации о травме среди калмыков мы видим, насколько усеченной передается она поколению детей, родившемуся после депортации. Это информационное сито в калмыцком обществе стало инструментом в послании умолчания. Опубликованные воспоминания последних лет стали перезаписью памяти, переложенным вариантом эпической песни, по законам которой право на счастье надо заслужить, пройдя inferнальное путешествие.

Литература

1. Ленкова М. История Калмыкии XX века в современной историографии. Элиста, 2001.
2. Номинханов Д.Ц-Д. В семье единой. Элиста, 1967.
3. Калмыкия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Сб. докладов. Элиста, 1966.
4. Кичиков М.Л. Во имя победы над фашизмом. Элиста, 1970.
5. В годы суровых испытаний. Боевой путь 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. Элиста, 1976.

* Этим рассуждением В. Тишков поделился со мной в частной переписке.

6. Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка // Бахтин М. (под маской). М., 2000.
7. Бугай Н.Ф., Гонов А.М. Кавказ: народы в эшелонах (20–60-е годы). М., 1998.
8. Полян П. Не по своей воле... История и география принудительных миграций в СССР. М., 2001.
9. Бугай Н.Ф. Операция «Улусы». Элиста, 1991.
10. Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте. Этнография чеченской войны. М., 2001.
11. Сандомирская И. Книга о родине. Опыт анализа дискурсивных практик. Вена, 2001.
12. Motzkin G. Memory and Cultural Translation // The Translatability of Cultures. Figurations of the Space Between. Stanford, Calif., 1996.
13. Панькин А., Папуев В. Дорогой памяти. Элиста, 1994.
14. Кугультинов Д. Вечная память // Теегин герл. 1997. № 2.
15. Книга памяти калмыцкого народа. Ссылка калмыков: как это было. Элиста, 1993.
16. На чужбине // Советская Калмыкия. 1993. 28 января.
17. Годаев П. Боль памяти. Элиста, 1999.
18. Илюмжинов Д. Предки, факты, время. Элиста, 1997.
19. Кугультинов Н. От правды я не отрекался // Огонек. 1988. № 35.
20. Мне кажется, это было не со мной // Известия Калмыкии. 1994. 23 сентября.
21. Эти годы... // Известия Калмыкии. 1991. 27 декабря.
22. В воспоминаниях и снах приходим мы туда // Советская Калмыкия. 1993. 23 декабря.
23. Тринадцать лет в тоске по родине // Известия Калмыкии. 1994. 2 декабря.
24. Иванов М.П. Годы ссылки: воспоминания и мысли. Элиста, 1997.
25. Паносян Р. Непростое прошлое, трудное настоящее, туманное будущее (Отношения Армении и диаспоры в 1988–1999) // Диаспоры. 2000. № 1–2.
26. Убушаев В.Б. Калмыки: выселение и возвращение. Элиста, 1991.
27. Dudwick N. The Karabagh Movement: An Old Scenario Gets Rewritten // Armenian Review. 1989. Vol. 42. № 3.